

чьи предки строили Аркаим, те и другие тянут гумилёвское одеяло в свою сторону, не вспоминая об идеях симбиоза. Но не к этому же стремились евразийцы в лице своих лучших представителей!

В «Ура Линде» культурализм настолько силён, что заменяет собой даже расизм. Так, ценности матриархата приписываются «детям Фрейи», патриархата — «людям Финды». Любопытно, что Г. Вирт пытался-таки дополнить культурализм расизмом, но не нашёл убедительных аргументов. Так, он пытается сослаться на фенотипические признаки: «По поводу ещё сегодня заметного расслоения между норвежским населением, относящимся к обеим расам, см.: Рисунок 233. Норвежский крестьянин, относящийся к типу “Финды”. Рисунок 234. Норвежский крестьянин, по крови принадлежащий Фрейе (по Ханзену)» (Вирт 2007: 351). Однако лица на указанных снимках (: 601 сверху) можно принять за фотографии одного и того же человека в разном возрасте. Авторы «летописи» явно были последовательнее своего немецкого преемника.

Тем не менее культурализм легко переходит в расизм. Достаточно указать на текст «основного закона фризов» — Совет Фрейи, 6: «Также, когда между вами найдётся некто, продающий свою свободу, помните: он не из вашего народа. Это хорнинг, сын потаскушки» (: 102). В голландском тексте — «hij is een bastaard met verbasterd bloed» (OLB 1872: 23), в рукописи — «hi is en horning mith basterdbloed» (стр. 14). Здесь практически описан тот механизм, который Р. Панковский постоянно называет «расификацией» (*ugasowienie*): группа, чем-либо отличающаяся от большинства населения, начинает *рассматриваться* как расовая (отличная и по происхождению), причём сама может принять такой взгляд на себя в качестве самооценки.

III.7. Психологизм на популяционном уровне

Поскольку человек оказывается производным от этноса, а тот — от биосферы в целом, то не люди, а этносы — действующие лица исторической драмы. Точнее, вся история превращается в психологический роман, развёртывающийся между этническими душами. Отдельная же личность — лишь более или менее яркое воплощение своего типа, своей культурной (у наших авторов — расовой или этнической) души. Именно это Гумилёв и называл этнопсихологией.⁵⁷ Так, каждый этногенез делится у него на фазы, каждая со своим «поведенческим императивом» (см. сводную таблицу — Гумилёв 1990: 239; 1997: 585).

Так, и А. Розенберг, и Л. Н. Гумилёв специально обращаются к одному из эпизодов французской истории: роли гугенотов и последствиям их изгнания, — хотя у них на то разные причины. Как известно, гугеноты (французские кальвинисты) были самой активной частью современного им общества (XVI—XVII вв.). Их изгнание способствовало идеологической консолидации Франции, но в то же время — укреплению Старого режима и торможению экономического развития страны. Зато приток гугенотов в страны изгнания — людей активных, предприимчивых, воодушевлённых верой в личную избранность и личный успех, притом лишённых патриотизма к той родине, которая их изгнала, и готовых служить любому монарху,

⁵⁷ В наши дни этнопсихологией называют науку, изучающую особенности психологического склада у отдельных представителей различных этносов. Это та самая характеристика, о которой мы говорили в III.3. Здесь же перед нами совсем другое: представление, что *целые этносы* действуют, словно личности со своей собственной психологией.

давшему им законное место в своей стране, — весьма способствовал расцвету этих стран. Особенно значительна их роль в возвышении Пруссии, куда их целенаправленно привлекал «великий курфюрст» Фридрих-Вильгельм (1640—1688). Схожие последствия имело изгнание евреев и мавров из Испании и бегство старообрядцев из центральной России.

Всё это, однако, факты истории *идей* — религиозных и социальных (так их и рассматривал М. Вебер). Наши же авторы стремятся увидеть в гугенотах особый *этнический* субстрат. Вот определение Л. Н. Гумилёва:

«Но попробуем положить всё это на этническую карту и сразу увидим, по какому принципу строилась эта война, подогреваемая пассионарным напряжением, которое уже начало спадать. Возьмём ту же самую Францию. Северо-западная часть населена кельтами: кельты ненавидят Париж, а в Париже католики, следовательно, в Вандее гугеноты. Юго-западная населена гасконцами: гасконцы ненавидят Париж — гугеноты. На юге провансальцы живут: они к XVI—XVII вв. довольно вяло относятся к Парижу и — Прованс не участвует активно в религиозных войнах. В Севеннах дикие горцы, которые и говорят даже не по-французски, а на каком-то диалекте (здесь основа гугенотов). Центральная часть Франции, захваченная ещё за тысячу лет перед этим франками, — сплошь католики.

Социальной системы здесь нет; система была здесь, видимо, чисто психологическая. Сложилось два психологических рисунка, которые оказались несовместимы друг с другом» (Гумилёв 1990: 158—159).

Эта несовместимость привела к этническому разрыву:

«... ход событий эпохи Реформации привёл к тому, что французы-гугеноты — продукт дифференциации — вынуждены были в XVII в. покинуть Францию. Спасая жизнь, они потеряли этническую принадлежность и стали немецкими дворянами, голландскими бюргерами и в большом числе бурами, колонизовавшими Южную Африку. Французский этнос избавился от них как от лишнего элемента структуры, и без того разнообразной и сложной» (Гумилёв 1990: 19—20; 1997: 137).

Для Розенберга же гугеноты — «истинно арийская» часть французской нации. Её изгнание усилило Пруссию притоком арийской крови, но нанесло смертельный удар Франции. Разумеется, на самом деле — французскому *дворянству* (гугеноты были последними, кто позволял себе рыцарски-независимое поведение), но об этом особый разговор.

«Однако решающий факт этой потери крови — изменение характера французской нации. Та настоящая гордость, та непреклонность и то великодушие, которое воплощали первые гугенотские руководители, была навсегда утрачена. <...> Как во время большевизма в России татаризированные недочеловеки убивали тех, кто высоким видом и смелой поступью напоминал господа, так и якобинская чернь тащила на эшафот каждого, кто был строен и белокур. Говоря в терминах расовой истории: с гибелью гугенотов нордическая расовая сила была если и не вовсе сломлена в державе франков, то резко ослаблена. <...> С тех пор на авансцену выходит альпийский тип человека, смешанный со средиземноморским (но не “кельтский”). Торговец, адвокат, спекулянт станет хозяином общественной жизни. Демократия, таким образом, кладёт начало не власти, а власти денег. Это обстоятельство уже не менялось оттого, правит ли империя или республика, так как человек XIX века в расовом отношении оставался одинаково нетворческим. <...> То, что ещё мыслило во Франции благородно, отступалось от политики как от грязного дела, жило в провинциальных замках, в консервативном затворничестве, или на-

правляло своих сыновей в армию, чтобы только послужить отечеству. В особенности, однако, в морской флот. Еще в конце XIX столетия наблюдатели на балах моряков могли делать поразительное открытие, что все без исключения офицеры были белокуры!» (Rosenberg 1934: 102—103 и след.).

И в итоге — *prognosis pessima*, который так любят исторические пророки: «История Франции на сегодня окончена» (Rosenberg 1934: 104).

Сопоставим этот пассаж с обобщениями Л. Н. Гумилёва о роли табгачского этноса в истории Китая:

«И даже самые лучшие законы, в другое время составившие бы счастье людей, не могли спасти страну и народ от бедствий. Они просто не соблюдались и при всеобщих злоупотреблениях теряли силу. Чтобы найти выход, нужны были не законы, а люди — честные, преданные, мужественные и способные на самопожертвование, хотя бы ради иллюзий. И пока они не народились сразу в большом числе — страна катилась в пропасть. Но они появились внезапно, и история началась заново» (Гумилёв 1974: 231).

«Итак, танская империя претендовала на мировое значение. Это определило её дальнейшую политику, её небывалый расцвет и кровавый конец. Объединение Китая и степи, как и всякое начинание, имело свою оборотную сторону: танские монархи хотели опираться на всех, а в критический момент их не поддержал никто. Благодаря мужеству своих командиров и стойкости воинов танские монархи шли от победы к победе, но их государство от этого только слабело. По существу все земли, которыми они владели, были покорены оружием, и Китай был их первой добычей. Однако их умение миловать побеждённых, ценить прекрасное и любить далёкое стяжало культуре этого времени заслуженную славу в веках» (Гумилёв 1967: 177).⁵⁸

Если эти отрывки перенести из одной книги в другую, заменив, где нужно, слова «расовый» на «пассионарный» или наоборот (и, разумеется, устранив некоторые чересчур узнаваемые выпады — например, строку Розенберга о большевизме), — многие поклонники Л. Н. Гумилёва, уверен, не заметят подмены.

И у Тойнби, и у Шпенглера психологизм заметен не на этническом, а на культурном уровне. У Шпенглера он прямо вытекает из учения о «культурной душе»: примеры можно найти почти на любой странице его книги. У Тойнби, как мы отмечали, этого нет, но есть рассуждения о массовых настроениях, причём далеко не всегда обоснованные. Вот лишь один такой случай:

«Венцы более двух столетий жили как имперский народ в своих габсбургских владениях, вместо того чтобы исполнять историческую роль защитников форпоста западного общества против османов. В этом нестимулирующем окружении последнего периода они приучились во всём полагаться на династию, и, когда имперское правительство объявило ультиматум Сербии, что было началом мировой войны 1914—1918 гг., они подчинились закону мобилизации, словно овцы пастуху, не ведая, что идут на живодёрню. Ими двигала вера в императора Франца-Иосифа, слепая вера в то, что всё, что он предпринимает, есть результат провидения» (Тойнби 1991: 155).

⁵⁸ Между тем китаеведы не подтверждают тезис Л. Н. Гумилёва о двух этносах в танском Китае: «“Табгач” рунических текстов никогда не был самоназванием китайцев или их локального подразделения <...>. Как было установлено Г. Шедером, этноним “табгач” в значении “китайцы” был заимствован тюрками у согдийцев и в согдийском языковом оформлении» (Крюков, Малявин, Софронов 1984: 277).

Ни один из тех, кто читал роман Я. Гашека, не согласится с такой оценкой. Государственная пропаганда — да, военный психоз первых месяцев, внешне выглядевший как слепая вера, — да. Но не более того. Не говоря уже о том, что Австро-Венгрия в начале XX века была глубоко расколотым обществом, так что говорить о настроениях всех венцев в целом — большая натяжка.

В чём же дело? Наши авторы рассматривают историю как результат действия свободной воли людей. Так считали не только А. Дж. Тойнби и Л. Н. Гумилёв, но даже Л. Н. Толстой с его мыслью: «История, то есть бессознательная, общая, роющая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей» (*Война и мир*, III, I, I). Все эти авторы сохранили средневековый взгляд на государство как на производное от личности государя, общий и для Селевка Никатора, и для Ивана Грозного (с его принципом: «государь государства больше»), и для Короля-Солнца. Они не учитывали, что современное государство — механизм, а не организм и не форма «общественного договора», что человек в нём действует не по собственной воле. Причём мощь этого механизма не зависит от политического строя и в наши дни куда больше, чем при Старом Режиме, несмотря на политические свободы, лишь смягчающие его воздействие на индивида.

В. Н. Дёмин, как мы видели, выводит все национальные культуры от общих предков — гипербореев. Такое понимание места человека в мире, казалось бы, исключает психологизм на групповом или этническом уровне. Тем не менее поле для него всё же остаётся:

«Вся жизнь цивилизованного и нецивилизованного человека неотделима от окружающей его Вселенной, пронизана связью с ней от рождения до смерти. Русский народ здесь не исключение. Более того: необъятные просторы русской земли, распахнутость звёздного неба, постоянная устремлённость к открытию новых земель и вообще всего нового сделали русского человека особенно восприимчивым и предрасположенным к миру космических явлений» (Дёмин 1997: 334).

Иными словами, особой «расовой психологии» нет, для всех людей она одина (что и подчёркивается постоянными ссылками на межкультурные параллели), но всё же некоторые восприимчивее к Космосу, чем прочие.

Напротив, кн. Трубецкой сам подчёркивал в своём творчестве именно эту черту. Уже в *«Европе и человечестве»* он прямо объявляет себя сторонником идей Габриэля де Тарда, одного из создателей социальной психологии. «Особенность учения Тарда состоит именно в том, что как элемент социальной жизни он принимает только один элементарный психический процесс подражания, протекающий всегда в индивидуальном мозгу, но, вместе с тем, устанавливающий связь между отдельным индивидуумом и другими людьми и, постольку, относящийся не к чисто индивидуальной психологии, а к психологии “междуиндивидуальной” (interpsychologie)» (Трубецкой 2007 {1920}: 121). Правда, автор оговаривается: «Таким образом, хотя мы примыкаем в целом ряде важных пунктов к социологическим учениям Тарда, тем не менее в его теории нам приходится вводить некоторые существенные поправки» (там же: 119). Так, по мнению Трубецкого, Тард не обратил должного внимания на связь этнической психологии с наследственностью (что мы уже отмечали).

Однако при этом упускается из виду важная вещь. Социальные психологи рубежа веков — Ш. Сигеле, Г. Лебон, Г. де Тард — исследовали всё же в основном психологию толпы, то есть *стихийного* поведения неорганизованной массы. Одна-

ко культурное поведение не может считаться стихийным: культура всегда включает систему норм, не сводящихся к простому подражанию (на чём настаивал Тард), больше того — лишь при этом условии она может выполнять свои функции. А организованная толпа — это уже не толпа, не масса, а группа, в ней действуют другие законы.

Это и приводит кн. Трубецкого к выводу о невозможности общечеловеческой культуры. Распространяя на неё закон массового поведения, выдвинутый Г. Лебоном, он считает, что «в этой культуре должны воплощаться лишь те психические элементы, которые общи всем людям» (Трубецкой 2007 {1923}: 453), то есть наиболее примитивные психические черты. Это — «логика, рационалистическая наука и материальная техника», которые «всегда будут преобладать над религией, этикой и эстетикой» (там же). Так, «японец и немец могут сойтись только на логике, технике и материальном интересе, а благодаря этому все прочие элементы и движущие пружины культуры постепенно должны атрофироваться» (там же: 456). Между тем сегодня мы уже видим, что Япония не только обогнала в техническом отношении европейские страны, не только успешно индустриализировалась, а затем и софтизировалась, но и не утратила при этом своего культурного своеобразия, не стала даже христианской или безрелигиозной страной. Да и почему следует считать, вслед за Н. С. Трубецким, что логика едина для всех культур или что религиозность встречается у людей реже, чем логическое мышление или материальный интерес?

Наконец, в «Ура Линде» этническая психология появляется уже на первых же страницах. Об этом мы уже говорили.

III.8. Иллюзорность ценностей и смысл истории

Рассуждая о психологии (будь то людей или народов), невозможно обойти вопрос о ценностях. Действительно, и А. Розенберг, и Л. Н. Гумилёв говорят об этом почти непрерывно. При этом, однако, ценности у обоих авторов не имеют онтологического статуса. Они иллюзорны и выбираются людьми сравнительно произвольно. У Розенберга и быть иначе не может, раз в основе жизни — воля по Шопенгауэру: любые ценности и цели — лишь внешний повод для проявления этой воли. Нигде в «*Мифе XX века*» не говорится, что идеи чести и долга выше прочих *сами по себе*, но лишь о том, что к этим целям стремится высшая порода людей. Сама идея о том, что жизнь не имеет другого смысла, кроме иллюзорного, конечно, заставляет вспомнить Ницше. Но Ницше не был ни историком, ни философом собственно истории.

Гумилёв же сам постоянно подчёркивает иллюзорность ценностей. Вспомним определение пассионарности, приведённое выше: «... стремление <...> к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (чаще иллюзорной)» (Гумилёв 1990: 33). Ещё одно определение пассионариев: «Я стремился показать, что **есть** люди, которые стремятся в большей или меньшей степени к *идеальным иллюзорным целям*» (Гумилёв 1990: 38). Эта мысль, кстати, помогает полнее оценить роль утопий в истории.

В целом концепция Розенберга — крайний антиисторизм: нет ни цели истории, ни её направления, ни даже цикличности. Есть лишь суетное, хаотичное мелькание, в котором нельзя даже понять, почему же последние несколько веков (эпо-